

НИКОЛАЙ ИВЕНШЕВ



## КЛИФТ

РАССКАЗ

Слово “костюм” колкое. К парадно-выходной одежде больше подходит лексика урока “клифт”. Звучит, как “флирт”.

Флирт с костюмами у меня начался в ранней юности. Выросший в школьных гимнастерках “с начесом” да в ватниках, которые в Верхней Маза называли фуфайками, я мечтал о костюме с накладными карманами. Синдром гоголевского Акакия Акакиевича сидит в каждом человеке. Мне нравилось воображать себя входящим в фойе клуба, где проходили по субботам и вечерам танцы. Никаким танцором, конечно же, я не был. Я просто входил и выходил из этого фойе вместе со своим соседом Колькой Тюриным. Входил и выходил.

Я уже узнал, где надо шить первый в своей жизни костюм. В городе Сызрани — там настоящие мастера. Ни в коем случае ни в Радищеве, а в Сызрани.

Выклянчил-таки деньги у бабушки. Пятьдесят километров пыльной и ухабистой дороги как будто и не было вовсе, это был счастливый путь. И вот я уже стоял перед закройщицей, которая, как при рентгене, велела мне вдыхать и выдыхать. Она задавала мне вопросы по поводу пошива. А я только тряс головой и со всем соглашался. Почему-то я думал, что скажи что-нибудь не так, и эта длинная, сухая закройщица сожмет свои губы и откажется шить.

Я приезжал еще раз сюда на примерку, робко попросив заузить свои брюки до восемнадцати сантиметров. Тут же примерил наживленные белыми нитками лохмотья пиджака. На вопрос “Нравится?” — угодливо кивнул.

---

*ИВЕНШЕВ Николай Алексеевич родился в 1949 году в селе Верхняя Маза Ульяновской области. Окончил Волгоградский пединститут им. А. С. Серафимовича. Автор книг “За Кудыкины горы”, “Портрет незнакомки”, “Казачий декамерон” и других. Член Союза писателей России. Живёт в ст. Полтавской Краснодарского края.*

Через неделю в город Сызрань я ехал еще более счастливым, если у этого слова есть превосходная степень.

Да, стальной цвета костюм с зеленоватой жилкой, кажется, получился. Вот только брюки в поясе несколько жали. И еще одно плечо вроде было выше другого. Слегка косил один борт пиджака. Но опять та же закройщица успокоила, мол, это всё “приносится”. “Ткань новая тянет”, — успокоила меня строительница костюма.

И только уже в Мазе, примерив свое “чудо” перед домашним зеркалом, я поглядел на себя трезво. Дело в том, что в зеркале стоял не я. Другой человек. Это было зрелище недоделанной элегантности. Костюм из лавсана с зеленой ниточкой. И все же, и все же плечо, гмм... высокогато.

Но восемнадцать сантиметров на “брючинах” успокаивали. Ровно восемнадцать, по линейке.

Стилягой я шел в клуб, на танцы. И успокаивал себя: “Вот если левое плечо тоже поднять, то получится вполне. А правую руку надо держать у края полы пиджака, это создаст впечатление”.

Стоило ступить на крыльцо клуба, как раскованность моя, вместе с впечатлением пропала. Всё-таки я мужественно вознес плечо и крепко прижал полу пиджака к паху. Раз уж я решил “на костюм”, то и пригласите кого-нибудь на танец в этой модной обнове было можно. Даже необходимо.

...Я всегда хотел её пригласить. У нее были зеленоватые с волнующими льдинками глаза и выющаяся челка. Зеленоватые глаза, зеленая костюмная нитка. Дождавшись медленного танца, я шагнул к своей другой, более высокой, нежели костюм мечте.

Зеленоглазая Наташа привстала со своего стула. Но почему-то сделала шаг в сторону. Потом она, там было свободное место, отпятилась и взором (не взглядом) измерила меня с головы до ног. Я не тчец по глазам, но понял, что они, то ли смеются надо мной, то ли жалеют. Разбираться было некогда. Наташа пошла со мной танцевать. И танцевала она, оглядываясь. Во мне в это время бушевали всякие чувства. С одной стороны, я полагал, что моя уловка с плечами удалась, преодолел сутулость, но другой внутренний голос ехидничал и говорил о том, что Наташа всё раскусила. И еще. Мне все же было приятно с ней танцевать этот медленный танец, почти касаясь её расплавающего меня тела. И от нахлынувших разноречивых чувств, вот парадокс, мне хотелось, чтобы музыка поскорее кончилась, чтобы ушла нахлынувшая на меня удушливо-счастливая волна.

...Восемнадцать сантиметров снизу. Они шагали, они солдатской четкой походкой вели “мою девушку” на своё место. Скорее бы. Я выпрыгнул из фойе. На высоком крыльце с каменными перилами курили трое парней. Двое из Разноты, братья Еленюшкины и Колька Тюрин. Колька меня тут же схватил, толкнул в моё плечо — своим. “Колян, — со свистом прошептал мой тезка. — Ты чё такой дурной? — Он прямодушный, мой сосед-шабер Колька Тюрин. — “А чё?” — “А то! Чё это на тебе надето?” — “Костюм!”.

Колька Тюрин вечно ходящий в шобонах. “Ты похож на горца в бурке!” — Тюрин и сплюнул через круглые, крашенные белой известью баясины перил!

— Танцевал еще! — Припечатал друг.

Крепко я обиделся тогда. Не на костюм свой, первый и единственный, и не на прищуренные глаза Наташи, пожалевшие меня, — чучело огородное, а на эту правду, сказанную устами простодушного друга.

Долго я с ним не водился.

С этих пор у меня появилась стойкая аллергия на костюмы. Я предпочитал просто брюки со свитерами, джемперами и пуловерами. Куртки.

Но все же другой костюм пришлось купить уже в послестуденческие времена.

Не помню уж откуда, но у меня появились деньги. И я на эти деньги решил поехать в своему другу по общаге Володе Васютенко. Он был человеком, которого в девятнадцатом веке обозначали словом “ёра”. И это мне нравилось. Прилизанные люди были всегда. И в избытке. А оригиналов мало. Ёра Володя Васютенко плохо, но громко играл на гитаре. И когда в на-

шу общежитскую комнату заходила комендантша, ругая нас за беспорядок, он брал в руки шестиструнный инструмент и величал Антонину Васильевну: “К нам приехал комендант наш, комендант наш дорогой!”. И продолжал сильным речитативом расхваливать красоту мегеры. Но чья душа тут не смягчится. Любая, даже злодейской анчутки.

Но это было в студенческие времена. А теперь мы на воле — работаем. И скучаем друг по другу. Так бывает только в молодые годы.

Кому-то Володя Васютенко ловко сыграл на гитаре и спел. Кому? Он стал директором в сельской школе.

Он директор. Я — учитель. Но в разных местах живем и работаем. Васютенко донял меня письмами: “Приезжай. У нас здесь так привольно. Караси!”

Поразило это слово “караси!” Что он хотел сказать, чем прельстить? Карась — ordinaria рыба, костей до черта!

Но “караси” подтолкнули. И вот я на автобусном вокзале. Я приехал в районный город Михайловку. Двадцать кэме до цели. Вот-вот поеду к Васютенко, который директорствует в сельской школе, а жена его красавица Нина преподает русский язык и литературу. У этой девушки темные, глубокие глаза, как у грузинки. И жалостливый характер.

Но, увы, последний автобус уехал. Что мне делать? Возвращаться? А как жаркое из костлявой рыбы? Может, попутка? А пока я зашел в пивную и там выпил пятьдесят граммов водки. Пива в пивной не было. Водка тут же лишила меня ипохондрии и тепло сказала: “Доберешься. Поброди пока по Михайловке. Может, что-нибудь подвернется?!” Я последовал водочному совету и в тиши пыльных акаций увидел промтоварный магазин. И там, в уголке, стройный солдатский ряд костюмов, висящих на деревянных плечиках. Вероятно, к костюмам меня неизбежно будет тянуть всегда. Я к ним приближаюсь с опасливой осторожностью. С трепетом душевным. Зачем я шагнул к этой шеренге? Не знаю. Там висели рядовые костюмчики, которые чаще всего носят инженеры или бухгалтеры. И тут мои глаза наткнулись на светло-кремовую ткань в полоску. Полоска была вишневой. В принципе это был не костюм, а нечто... Неизвестно кто бы мог купить его в Михайловке?.. Кроме меня. Позевывающая продавщица направилась ко мне. И я, чур, меня, чур, вдруг понял, что она, как две капли воды похожа на давнюю сызранскую закройщицу. Хотя эта была вежливее. Она утверждала, что это польский, натуральный костюм, что он чисто шерстяной с небольшой добавкой, что сидит он на мне, как влитой. А стоит пустяки. Действительно пустяки. Я отсчитал восемьдесят рублей и отдал их продавщице. Она завернула костюм. Но тут же в тени акаций, среди травяной шелухи я решил переодеться. Костюм был мне впору. Но шагая в нем среди пассажиров, ожидающих своих автобусов, я вдруг преобразился. Костюм польский. Странно — я перевел тогда польского поэта Яна Бжемовского. Скорее всего, это повлияло. Я подошел к кассе. И заговорил на ломаном русском языке, смягчая некоторые согласные. А слова со звуками “Ч” и “Щ” вообще снабжал дополнительным прищелком.

Кассирша, у которой я час назад, справлялся о билете на хутор Ветютнев, меня не узнала, но смутилась. Я ли? Это костюм путал русские слова с польскими, переплавлял один язык в другой, коробил оба языка. Кассирша расплывалась в улыбке, и раскрыла руки, будто пыталась обнять меня. Она извинялась за весь советский транспорт. Чуть не плакала. Даже для иностранца автобус в Ветютнев так поздно не ходил. И тогда транспортница, заразившись от меня, произнесла мягкое слово: “Молёковоз!”. Моя русскость пропала напрочь. Я тупо стал вглядываться в жесты, показывающие на то, как и куда пройти, чтобы выбраться к той дороге “на Ветютнев”. И более того, кассирша захлопнула окошечко и выскочила из своего пенала, чтобы вывести меня из здания вокзала на улицу, повернуть мои кремовые плечи в сторону той дороги.

Идти по песчаной колее было интересно. Тем более что я пытался разобрататься: кто же я, в конце концов, — поляк или русский. Поляк! Решил еще немного поблуждать поляком. И после этого решения песок вдруг закончился, на-

чался чернозем. И влупил дождь. Нельзя сказать, чтобы он был продолжительный. Небесной воды хватило, чтобы черноземную ту колею сделать скользкой. Я шел по этой черной лыжне и по-русски плевался. Не особый любитель матерной лексики, я вдруг заметил в себе другое преобразование. Я заматерился. Вперемешку с польскими словами типа “ся кжев” и “курва”.

До трех тополей я кое-как добрался. Два раза я не удержал равновесие. А светло-кремовые мои костюмные брюки стали какими-то... в детстве этот цвет мы называли серобуромалиновый с продрысью. Косматые комья грязи легко расплывались в иностранной ткани.

Желанный молоковоз вначале мимо меня проскочил. Но потом дал задний ход. Распахнулась дверца. Мужик в кепке блеснул стальными фиксами: “За рубль доведу!”

Черт меня дернул опять ломать язык: “Дзенкуя”.

Шофер выжал сцепление. И воткнул скорость. И... и все же пожалел. Открыл с другой стороны дверь:

— Не русский, что ли?!

— Поляк! — Кивнул я, ударяя на первый слог.

Лицо водителя стало серьезным, и он, шмыгнув носом, уставился на дорогу. Вероятно, показывал чрезмерную бдительность. Хотя по этой лыжне “газон” с цистерной не вялил. И мы быстро докатили до хутора Ветютнев.

Теперь мне пришлось укрощать свой польский нрав и язык и довольно сносно, на русском, объяснять, где живет Володя Васютенко. Водитель долго не понимал, кто это и где. Но, в конце концов, он хлопнул по своему лбу кулаком и сказал: “А-а-а! Так бы сразу и сказали, что это Владимир Васильевич!”

Рубль с “поляка” молоковозчик не взял, только лишь заметил, что Владимир Васильевич очень обрадуется иностранцу. Он их любит.

В теплой хате директора школы я сидел в его тренировочном костюме. Красавица Нина стирала мой “польский”. Мы чокались медовухой. “Сам варил”. И потом, взяв в руки шестиструнку, Владимир Васильевич Васютенко, этот акын усть-медведицких степей, поведал мне своим надтреснутым речитативом о своём житье-бытье.

— Где караси? — спросил я.

— В реке!

— А река?

— За двадцать кэме?

Он махнул рукой: “А! Это я для приманки...”

Куда исчез тот польский костюм, не могу сказать. Он исчез, как исчезают старые и больные коты. Внезапно.

Уже в постперестроечные времена я купил свой третий костюм...

Еще не было моды садиться на корточки, коротко стричься и слушать эковские песни. Это потом. Потом только. Дорогу в зековский стиль протоптал особый костюм. Костюм-клифт впервые появился на плечах усатого и мордатого диктора телевидения. Могучие набитые ватой или поролоном плечи, широкие с петлей лацканы, длинный вырез спереди. Диктор тот был нахален. И все косился, на какой-то невидимый барьер. И это всем зрителям нравилось. Чувствовалась свобода.

Но что диктор?! Сам президент ходил в этих латах. И не только на экране. Навяу.

Он приезжал в казачью станицу Новомышастовскую именно в таком, цементного цвета одеянии. Это видел посланный понаблюдать из толпы мой коллега-журналист Сергей Базалук.

После встречи с президентом Сергей водил горбатым, мелиховским, как в кино “Тихий Дон”, носом и с серьезным лицом рассказывал мне: “Как живой! А лицо мраморное... Как мертвый!”

— Так мертвый или живой?

Сергей шурился: “Живой!”

Он описал встречу с народом, именно напирая на это слово “Живой!”

Мне же поручили написать об обеде с президентом у колхозного агронома Наумова.

Никого из местных щелкоперов до этого обеда не допустили. А допущенные, “мышастовцы”, рассказывая, морщились, будто глотали без запивки таблетку, вяло лепетали. Пришлось их “воспоминания” приправлять петрушкой, укропом.

— Что подавали? Осетринку?

— Жареных карасиков и пельмени, домашние?

— Из пачки?

Допрашиваемый ёрзал:

— Сказал же: домашние.

Я написал “Обед с президентом”. В своем ответственном опусе налегал на то, как у нас, на Кубани, широко, щедро встречают гостей. Привел президентскую оценку подаваемых сибирских пельменей: “Как у нас!” И в конце своей люля-малины добавил изюминку: “Президент нервно отказался от спиртного”. Потом подытожил, связал с историей: “Из высоких особ в последний раз станицу посещал Царь Александр Третий. Тот лихо, по-казачьи опрокинул чарку горилки”.

Какой правитель какому утер нос? Я это оставил на домысел читателя.

Меня понесло. В раже хотел было добавить, что царскую рюмку уже в советское время кто-то спер из местного музея, но опомнился. Не в тему. И вот — пятое мая. Старый День печати. Его тогда еще праздновали.

За карасиков, за пельмени, то бишь за “Обед с президентом” мне почтительно вручили премию в почтовом конверте — тысячу рублей. Тогда это были еще деньги. Их я потратил. Просто гипноз. Находясь в отпуске в Волгограде, приобрел костюм-клифт. Как у диктора. Как у президента.

По торжественным дням, “одержимый холопским недугом”, я надевал этот просторный и опять же командующий мной клифт. Честно говоря, костюм мне порой нравился. В нем, как в дзоте. И не каждый может тебя взять и распатронить. Матросовы перевелись. Идешь и чувствуешь на плечах величие. Вскоре на брюках от костюма появилась дырка. Я уронил пепел от сигареты. Но и это было неважно. Когда несешь на себе броню, кто смотрит на мелочь!..

А читать стихи про любовь в клифте было неловко. Сам ёжился. И слушатели слишком смирно сидели. Каменели.

Но вот потом я этот костюм возненавидел. За что? Догадки. Да, догадки.

Но что они меняют? Я видел на экране телевизора. Зачем ему надо было танцевать в Ростове, содрав с себя цементный свой пиджак. С девочкой, с девушкой?

И после этого пошло-поехало: “Владимирский централ, этапом до Твери”, “Ветер северный”. Михаил Круг. Смерть Круга, смерть самого президента. Стриженные под нолик милиционеры-менты, наркота, корточка, “Бумеры”. А все костюм виноват.

Клифт!

Никакой это не флирт. Подчеркиваю: ни-ка-кой!

А когда корабль тонет, воронка от него так затягивается, с таким чавкающим звуком: “Клифт”.

Да, и вороны так каркают.

И сейчас, поседев, я уже стал считать, что тот первый, сызранский костюм был шит как раз и нормально. И подозреваю, что шабер мой, друг мой Колька Тюрин, увидев мой тогдашний успех, взревновал меня. Ведь он тоже был влюблен в Наташу Сазонову и придумал “горца в бурке”, которого он видел на пачке папирос “Казбек”.

Знаю я этого Кольку, знаю, как облупленного. Вот — штрих. Когда у них, у Тюриных, кололи свинью, Колька стащил незаметно от родителей кус мяса. Завернул его в газету и понес Наташке Сазоновой. Наташка мясо не взяла. Нужно ей больно с такими-то зелеными глазами! И не танцевала с ним. Ни разу.

# ПЕВЧАЯ КРОВЬ

## РАССКАЗ

Умным английским джентльменом еще в середине девятнадцатого века было доказано, что все великие открытия совершаются на голодный желудок. Я на сто процентов уверен, что даже изобретение холодильника, и то было сделано не ожиревшим бургером, а каким-нибудь субтильным кнехтом с крепкой слюневыделительной системой. Бред, парадокс? Как хотите — так и считайте!

В моем холодильнике, на нижней полке сиротливо стояла трехлитровая банка с модным рисовым квасом. Полкой выше, прямо под лучами лампочки, радовала взгляд небольшая горбушка ноздреватого российского сыра. Я понюхал её и вспомнил слова баснописца Крылова: “Сыр, как и женщина, как и груша, должен быть немного подпорчен”.

Согласитесь, что не мог я, чревоугодник, сразу, как пришел из магазина, так с порога и накинуться на этот сыр и, уподобившись удаву, проглотить свою порцию.

Сыр был рыхл, как кустодиевская купчиха. И все же я решился. Одновременно со щелчком холодильника (он открывался не беззвучно) я услышал требовательный звонок у двери. Так в нашей семье никто не звонил. Люба, жена, прикасалась к кнопке звонка испуганно. Димка, сын, дребезжал им, тоже слегка касаясь. Так мог звонить только человек с гусарскими замашками моего студенческого друга Володи Васютенко. Но где тот друг? И что тот друг таит в своем холодильнике? Белую, ноздреватую, полуобморочную прелесть такого же сыра со слезой? Или его холодильный аппарат до отказа набит банками печени трески? И, может, в кармашке дверцы, стыдливо приклонившись к микстуре Кватера, газетой заткнутая бутылка портвейна?..

Хм... На пороге, пытаясь шагнуть в прихожую и тесня меня острым, укутанным в скользкую материю животом, горячилась цыганка, разумеется, пиковой масти, разумеется, неряха, и особенно грязны были её руки.

Это всё проходило стремительно: теснение животом, хватание моей ладони и победный марш в прихожую. Пообок от беременной цыганки с животным спокойствием жевали бутерброды с колбасой два цыганенка. Колбаса была толще, чем ломоть. Но еще толще и сочнее были языки цыганят. Они смачно облизывались и очень внимательно изучали меня спелыми, влажными глазами.

На секунду я вспомнил картинку из детства, связистов. У них есть такая палочка-выручалочка с хомутиком. Этот хомутик чувствует зарытую в земле проволоку.

Роль палочки выполняла моя ладонь. Моя рука подвела цыганскую тройку к холодильнику. Вторая рука распахнула его и, о, Боже, вложила в цветастый цыганский платок полукилограммовую сырную горбушку.

В холодильнике осталась только панacea от всех болезней — рисовый квас. Я успел заметить в глазах наглой и расторопной цыганки презрение, смешанное с недовольством. Цыганята тоже неодобрительно жевали свои бутерброды. Сыра им было мало? Может быть, хотели осетровой икры?

За цыганами захлопнулась дверь, и я ринулся на лоджию, убедиться, выйдут ли они или еще кого грабанут. Увы! Никого я не узрел. Цыгане исчезли. Никакого шума-гама. Мне показалось, что я во сне. Я кинулся к холодильнику, открыл. Сыра нет. Опять на лоджию. Цыгане исчезли без следа.

И вот тут-то злость на себя и свой голодный желудок помогли мне сделать открытие. Скуден и скучен Чарльз Дарвин, почему-то решивший, что люди произошли от обезьян. Я никогда не верил в эти бредни. Я всегда пожимал плечами и немного дурашливо с легким московским выговором тянул: “Где он взял этих обезьян на российских просторах? Если люди произошли от маргышек, то почему поумневшие животные от бананов и ананасов потянулись к нам сюда, на картошку, чокнутую провололочником? Хотя сейчас, да, люди и происходят от обезьян”.

На лоджии, а её достаточно густо оплетает виноградная лоза, на щебечущем балконе (сверху завелись воробьи), я и решил, я и сделал открытие. Люди произошли от птиц. Вот эти вот цыгане — от воробьев. Бывают ведь такие неряшливые, нахальные стайки. Они щебечут так, как будто автопокрышки елозят по сухому стеклу.

Но есть и другие типы воробьев. Они аккуратно подстриженные, с бритыми затылками, все у них по команде, взлетают-опускаются, клюют и дерутся. Щebet у них быстрый-быстрый, словно крутится барабан старого нагана.

Есть воробьи-коммерсанты. У них больше, чем у других, выпяченная грудь. Тугая грудь. Некоторые из них, по-видимому, летают в загранку, недалеко — в Турцию. Эти воробьи почти что и не щебечут.

За все, за все на свете у них одна плата.

— Чирик?

— Чирик!

— Чирик-чирик!

По рукам значит.

При появлении кошки Пропорции коммивояжеры собираются в круг, словно футбольные игроки, и совещаются — как изловчиться и прицепить к кошачьему хвосту пластиковое взрывное устройство. Кстати, Пропорция и не кошка вовсе, а кот — ленивый забуддыга.

Почему я так долго говорю о воробьях? А потому, что других птиц у нас почти нет. Зато воробьи самых разных видов. В последнее время появились жалчайшие воробьи, хотя у меня к ним жалости ни на йоту. Они прячутся далеко в густых зарослях лозы и там же склевывают зеленые виноградные ягоды.

Воробьи-плебеи, народ. Погодите, паралич вас разбери, до осени, я надеваю из изабеллы вина! Не годят! За спиной у этих мерзавцев много серого. Почти у каждого прорисован темненький вещмешок вокзального типа. Что в котомках? Корка проржавевшего, подклеванного под Житомиром сала да горбушка обветренного хлеба? А может, и того нет.

Напротив лоджии растет могучее вишневое дерево. И вот однажды, в середине апреля, я услышал из кустов этого дерева нечто невообразимое. Кто я такой? Нищий телом и духом писака. Не Алябьев, не Моцарт. А он прилетел и ударил по клавишам и пролился по листочкам каким-то щекотливым солнечным дождем. Потом уткнул мой нос в этот самый вишневый запах. Так за ушком у самой первой моей любимой. У Танички пахло. Но после этого подарка, после щекочущего пения летучий чаровник закрыл мои глаза и унес меня с каким-то скользким подвывом в ночь, в ту самую душную, дорогую. И я облизал соленые губы. Соловей-пташка, кругленький комочек на вишневой ветке, сколько у него песен! Но я уже опомнился и стал понимать, что все они лживы.

Что он такое чирикает? Как радостно кругом! Дух весенний! Ха-ха! Разве никто его не отравит?! Вот-вот прилетит механический гриф-самолет и сыпанет в наши легкие гербициды “ронстар”. Им американцы желтую расу из джунглей выкуривали.

Соловей спел о персиковых деревьях, о плодах, похожих на щеки восточных девушек. На-косо! Через три дня ударят морозы, и все перекрушат всю персиковую нежность.

После двух-трех гребеночных щелчков птичка вывела что-то солнечно-морское. Знать не знал, а может, и ведал, но притворялся, что через месяц привезут к нам в станицу гроб из Чечни. И моя знакомая библиотекарьша Лена Завьялова искромсает кухонным ножом только что связанный для мужа свитер. Тому, кто рваными кусками лежит в цинковом ящике, уже не нужен орнамент из “Бурда-моден”.

А соловей все пел, все врал, все рассказывал мне о том мальчишке, о сыночке моем. Он семь лет назад, а кажется, что вчера, запрыгивал мне на загривок и крепко сжимал меня гладкими коленками. Катай, лошадка!

О, Моцарт, ты — гений, но ты и лгун!

Сейчас вытянутый, худой. С холодными ладонями, замерший в какой-то

подростковой медитации, разве он похож на того, в котором была через края родная певчая кровь?!

А соловей нащелкивал на музыкальных счетах: “Не тушуйся, все встанет на свои места. Он еще прижметя к твоей щеке. Ты сядешь со взрослым, но уже своим мальчиком, и будете горячо спорить о философе Кьеркегоре”.

Соловей бесстыдно врал. И мне этого хотелось. Он перескакивал с одной вишневой веточки на другую, чтобы быть убедительнее. Так профессиональные совратители меняют обстановку, одежду, даже тембр голоса. Соловей все это делал виртуозно, изысканно. И фальшь исчезала.

Особенно верилось, когда внушал: “Хе-хе, старик, и ты ведь тоже соловей. Вон ведь сколько начирикал, три толстенные папки. Неужели там, в этих папках, — правда и ничего, кроме правды? Поклянись на Библии!”

Соловей — умница. Он перемешивал мифические черты моей прошлой жизни с правдивыми, с настоящими. Он все мои неблагоприятные поступки лакировал и облагораживал. Он рассказывал мне о возвышенной любви к той самой, с душистым ушком. Он что-то вышевал такое о её карих, внимательных глазах, и как бы походя щебетнул о том, что я, озверев от желания и отчаянья, сорвал с нее платье и хотел дальше содрать с нее все, втиснуть её в койку с панцирной солдаткой сеткой. Не вышло! Соловей щебетнул: “Шалость!”. Бурление крови.

И что, что я сам хотел сдать деда в дом престарелых. Это знал соловей. Но объяснял молодостью, глупостью, чужой виной. С таким сладкогласым соловьем жить превосходно! Ну, уж по крайней мере, лучше, чем с вороной. Хм-мм, эта ворона являлась каждое утро, каждое утро — возле котельной. Но не крематорий ли это? Ворона вышагивала. Как землемер. По выщербленному асфальту. Один шаг, второй, третий. Хватит, мол, тебе землицы? Почитай рассказ Льва Толстого “Много ли человеку земли нужно”. Вороны в нашем крае злые. Они уже ошеломлены, ошарашены рисовыми гербицидами. И все время эти вороны думают о черном. Их карканье похоже на звук выдираемого из сухой доски ржавого гвоздя. Но злее и жесточе ворон могут быть только бакланы, которые живут в пазухах рисовых каналов. Эти большие уродливые птицы, совсем не имеют души — ни человеческой, ни птичьей, никакой. Они автоматически выклеивают из тины маленьких лягушат. Я всё-таки думаю, что эти бакланы — птички терминаторы. Пузатые бакланы с равнодушными стекляшками на гладковыточенной голове. Вот поклюют они всех милых лягушат и примутся за нас, теплокровных. Ведь всегда, все с лягушек начиналось. Вначале опыты на лягушках...

Прислушайтесь, господа, ведь даже слово баклан звучит как “заклан”, “бак”, “клан”. Нет, лучше уж роковые вороны, они-то хоть предупреждают: “Не зевай! Сколько ты там настрочил? Три папки?! В них только три страницы правды. Э-э-э, ми-лай! Хватайся за свою ручку-самописку — пиши, пиши, пиши! А то вон, гляди: за дверью котельной, что это? Лопата. Самый верный инструмент. Рожок и труба попричитают, конечно, но последнее слово всегда за штыковой и совковой. Это самые точные ударные инструменты. И неотвратимые”.

Но вот в четверг... Он был поистине чистым, этот четверг. В этот чистый четверг вместо известного лжеца, композитора соловья, припорхнул на вишневую ветку, кто бы вы думали? Скворец! Я тогда решил, что соловей — миссионер, некий свидетель Иеговы, перестал раскидывать передо мной лакированные рекламные проспекты моего прошлого и будущего. Надоело. Вместо соловья Бог послал птицу попроще, пояснее. И какой, скажу я вам, скворец прилетел! Из детства.

Дедушкин скворушка.

Мне было лет девять. А в это время в голову лезет такая неосуществимая белиберда. Я, начитавшись сказок, шепнул деду на ухо, чтобы бабушка не слышала. Тайна. Это наша тайна. “Хочу попугая! Хочу научить его разговаривать по-нашему!”

Дед крепко растер свое сибирское лицо и хитрехонько взглянул на меня: “Эка ты замахнулся! Попугай! На кой он? Не наша эта птица. Вон иди на Кольку Власова взгляни — чем не попугай! Только без хохолка”.



Я специально сходил к Власовым, и так и сяк разглядывал шебутного хозяина. Нет, не похож он. Дед загнул.

В утешение дед поймал мне горящую русскую птицу — скворца. Он поймал скворца рыболовной вершей. Как птаха влетела в воронку этого водяного снаряда, одному Богу известно, только дед вскоре научил скворушку жить в нарядной, крытой лаком клетке. Скворцу нравилось. Нравилось клевать твердую, воскового цвета пшеницу. Запивать почти каждый глоток водичкой. Но лучшее скворчиное лакомство — куски колотого, иссиня-белого сахара.

— Сахар для ума пользительный! — считал дед. — Вот погляди, скоро заговорит, да как бы не на немецком языке сразу.

Скворец клевал белые крошки и весело поглядывал на нас, как бы посмеивался: “Ждите, мол, старый и малый, заговорю! Заговорю, когда очистишь от сахара весь магазин”.

— Кхе, Кока (дед называл меня Кокой, как будто я был яйцом или петухом) Кока? Он нас дурачит. Он все понимает. Он умеет по-русски.

Деду-то я верил. Но не так уж. Я ведь уже в третий класс ходил. Спросил у учительницы, у Александры Григорьевны: “А скворцы могут научиться разговаривать?”

— В исключительных случаях. Один из тысячи говорящий.

У нас кончился кусковой сахар. В магазине продавали только песок. Дед щедро насыпал сахарный бурт и уговаривал: “Клюй, милый!” Мне казалось, скворец морщился. Не клевал он. Для него сахар-песок — катастрофа, крушение.

Скворец лениво, безразлично поклевал только пшеничные зерна.

День прошел, два, три. Я собрался на двор отбивать лопатой замороженные коровьи лепешки. Кстати, чудесное это занятие, лучше, чем гольф.

Я накинул на себя старую, выдернутую из хламья на печке фуфайку. Сунул руку в карман. И надо же, там оказался кусок сахара. Я живехонько — в сенцы — и там молотком расколотил сахар на крошки. Всыпал скворцу. Скворец внимательно оглядел крошево, отпятился, как дровосек, от сахарной борозды и всадил клювом. Белая крошка исчезла. Скворец саданул по другому сахарному камушку. Потом повернул клюв ко мне и выкрикнул всем своим нутром:

— Ко-ка!

Он еще что-то затрещал. По-русски, да, да, по-русски. Я со всех ног кинулся разыскивать деда. На зады.

— Заговорил! За-го-во-ри-ил! — ору.

И дед всплеснул руками и затопал возле клетки, как будто танцевал. А скворец наяривал. Клевал и балаболит:

— Кока, Ко-ка, Ко-ка, Кока.

— Лежебока! — просияла внезапно появившаяся бабушка.

Вот тот самый скворец теперь и прилетел. Именно тот. На нем на спинке белая тигриная полосочка.

— Кока? — крикнул я в виноградные листья.

Он кивнул клювом, узнал. Он молчал, словно боялся, что нашу тайну разрушит, подслушает ватага вертопрахов-воробьев, загулявших под карнизом. Это те самые, что знают одно слово “Чирик”. Были бы это вороватые мужички, может. Тогда скворец развязал бы язык. Что им, плесам, был бы порвейн в холодильнике. Заткнутый газетой.

Скворец кивнул еще два раза и улетел.

Он, как по графику, четко прилетал теперь по четвергам. В следующий четверг я с каким-то просительным чувством оторвал от телевизора своего Димку. Он пожалел меня, вышел-таки на лоджию. Я взглянул в лицо сына. По нему еще бегали световые бляшки. На нем, на лице, отражалась еще не остывшая компьютерная игра.

Димка потрянул головой, бляшки исчезли.

— Что? — спросил он мужским, набирающим сухость голосом.

— Скворец? — опять просительно. Заискивающе улыбнулся я. — Кока!

Димка поглядел на меня умными глазами. В них такой циничный скепсис. Хорошо хоть не заявил, что я умом тронулся.

— Ну и...

— Кока, скворец! — прошептал я и торопливо, сбиваясь, стал рассказывать сыну о деревенском скворце, которого дед изловил вершей. Я рассказывал в пустое, безвоздушное пространство. Димка переминался с ноги на ногу, где-то там, в глубинах его комнаты, пошискивала электрическая игрушка. Наверное, так бакланы свистят. Я никогда не слышал бакланьего голоса.

Чем больше отстранялся, равнодушничал Димка, тем энергичнее я, захлебываясь, рассказывал о скворце.

Я не заметил, как перешел на другое. Глупая, сопливая сентиментальность, зачем ты сейчас? Ты смешна, ничемна, стыдна.

Я рассказывал о том, что сыночек мой родился с крохотным разорванным капиллярчиком в глазу. А еще было несчастье — диатез. Мы обмывали Димку чередой, чебрецом, спорышем. А еще до смерти памятное, как выносил я закутанного мальчика на зимнее солнышко. Оно грело чуть-чуть. А сверток с сыном был белее сугробов. И среди этой белизны Димочка так нежно для сердца жмурил свои голубые глазенки. Вечером я заглядывал в желтенькую из фанеры кроватку. Расплавленное теплое масло переливалось у меня в груди. Там сопел он, мое маленькое подобие.

Я зачем-то рассказал Димке библейскую историю. Пьяный Ной нагим уснул в шалаше, а сын его Хам растрезвонил всем и посмеялся над этим. Но двое братьев Хама повели себя по-другому. Они поднялись к отцу, чтобы не видеть его наготы, и прикрыли.

Теперь эта легенда никому не нужна. Пусть пропоет её лживый соловейчик.

Что-то сын понял. Кажется, понял. Не мог ведь он быть таким заскорузлым цинковым циником.

Мы ведь так похожи. Есть одна фотокарточка. Я с собачкой. Желтенький, старый снимок. И есть другая фотография. Дима с собачкой. Два идентичных снимка. Ну, как две капли воды. Даже чубчики одинаковые. Разительная схожесть!

И у нас с сыном есть один общий недостаток. Мы не умеем плавать. И еще. Мы одинаково самолюбивы.

Пока я все это рассказывал, скворец улетел, не щебетнув ни слова. Димка ушел к своим звонким, жестяным бакланам. Эти “птицы” строчили на экране то из короткоствольного “узи”, то из нашего “калашника”.

— Дас-с-с!

Портрет Чехова со стены взглянул на меня с явным сожалением. Мудрый Чехов, ты ведь сам призывал смотреть на героев отстраненно. Вот и я отстраненно поглядел на заголовок в молодежной газете: “Сверхмощную бомбу вмонтировали в футбольный мяч”.

Но не отстраненно ведь глядел на меня наш деревенский онемевший скворчага. К праотцу ужасов Эдгару По прилетал ворон. “Новормор!” — крикнул я в следующий четверг своему немного постаревшему скворцу.

Он покачал клювом. Не из таких.

— Кока?

— Да, да! — Он обрадованно закивал своим пинцетом. Отнюдь не бинарная, кибернетическая система ответов у скворцов. Он вдумывался во все мои слова.

Четверги, чистые четверги стали для меня воскресениями. Осели навсегда в своих райских кущах соловьи. И уже не измерял делянку возле котельной чернокрылый птах ворон. Даже шkodливые воробьи куда-то смывались.

Я рассказывал этому Коке все, все. Рассказывал о том, что одна женщина, она по сию пору интересна для меня, советовала завести мне пуделя, действенное средство от одиночества.

— Лучшее средство — цианистый калий или яд-крысин, — спаясничал я, заглядывая в глаза этой женщины. Я надеялся увидеть там сожаление.

Пуделя я завел. Не пуделя, а какую-то благообразную дворнягу с длинным телом. Кобелек веселил, но одновременно и раздражал своей непроходимой глупостью.

“Нет, лучше, чем ты, Кока, лучше, чем ты, птичка, лучше друзей не

бывает”, — размахивал я руками на лоджии. Хорошо хоть рядом никого не было.

Кока радостно смеялся. И я тоже — рассказывал ему что-нибудь веселенькое, из детства, какую-нибудь ерунду вроде того, как я из новых брезентовых тапочек сделал кораблики и пустил их по речному течению. Пошитые за десять куриных яиц у деревенского немого сапожника тапочки утонули. Что может быть веселого в детском плаче? Сейчас, кажется, что было.

И скворушка поддакивал мне. Я все боялся, что скворец каркнет по-вороньи. А вдруг соловьем залется? Нет, уж лучше пусть молчит. Пусть молчаливо слушает, как пиликает в глубине квартиры прицепленный к игровой приставке Димка.

Сверстники почему-то кличут его Димон, чуть не Демон. Он, скворушка, видел, как намазалась морковным соком, впитывая в себя целебный каротин, жена, Люба. Я жалею её. Горько видеть. Что буквально все знакомые женщины постарели. Никакой им каротин не поможет, никакие рисовые дрожжи. Но и не эта главная печаль. Обидно, что женщины поумнели. Они ведь в юности детьми были, а сейчас — у-у-у-аксакалки! А детки? А дети? Неужели они со временем улетят на рисовые чеки хватать лягушек стальными клювами?.. Вот такой-то Кока, дарвинизм наших дней.

Скворец никогда словом не обмолвился. Откуда он. Кто прислал?

— Мучается ли там дедушка?

Кивок.

— А бабушка? Ей ведь тоже там не мед?

— Есть ли там, откуда он прилетел, развитые рыночные отношения?

— Есть! — опустил клюв скворец. Значит, все прилавки забиты шоколадом, колотым сахаром, пепси, видиками, шведскими презервативами, силиконом, уплотняющим женскую грудь? Все это есть!

— А скворцы?

— Нет. На том рынке живых скворцов не бывает! — покачал клювом Кока.

В один из четвергов я Коку не увидел. Но очень уж радовались воробы под балконной застрехой. Я даже учуял запах шипучего “Абрау”. Я взглянул вниз, в траву. И... о, ужас! О, ужас! Скворец, Кока, валялся там.

А оборванный кот Пропорция, кот — горький пьяница, перекатывал скворца с одного бока на другой, как полено. Царапал, но с осторожностью, с трезвой опаской, шевелил за спинку с белой тигриной бороздкой. Неужели, неужели под белой полоской у него шестеренки, винтики и собачки, какая-нибудь червячная передача? Неужели еще один терминатор?

— Ну-ка, пьянь! — рявкнул я на кота. — Ну-ка, скот подзаборный, вцепись в глотку немой птицы, и ты ясно удостоверишься, как горячо, ярко брызнет еще живая певчая кровь!

---

*Поздравляем нашего постоянного автора, талантливого, незаурядного прозаика Николая Алексеевича ИВЕНШЕВА с 60-летием! Желаем крепкого здравия, бодрости духа и новых ярких строк!*

*Редакция*